

Ганс Гейнц Эверс

Шкатулка для игральных марок

В этот вечер я довольно долго ждал Эдгара Видерхольда. Я лежал на кушетке, а индийский бой медленно махал надо мною большим опахалом. У старого Видерхольда были в услужении индусы, которые уже давно последовали за ним сюда, а с ними вместе и их сыновья и внуки. Эти индийские слуги очень хороши: они прекрасно знают, как нам надо прислуживать.

– Подойди, Дэвла, скажи своему господину, что я его жду.

– Атья, саиб.

И он ушел беззвучно. Я лежал на террасе и мечтательно смотрел вдаль, на Светлый Поток. Только час тому назад с неба исчезли тучи, которыми оно было обложено целыми неделями; целый час не падал больше теплый дождь. И вечернее солнце бросало целые снопы лучей на фиолетовый туман, окутывавший Тонкин.

Подо мной на поверхности воды тихо покачивались джонки, снова пробуждаясь к жизни.

Люди выползали наружу; ковшами, тряпками и тамариновыми метлами они выбрасывали воду из джонок. Но никто не разговаривал. Тихо, почти неслышно работали это люди; до террасы едва достигал легкий шорох. Мимо проехала большая джонка, наполненная легионерами. Я махнул рукой офицерам, сидевшим на корме, и они меланхолично ответили на мое приветствие. Конечно, они предпочитали бы сидеть на широкой веранде бунгало Эдгара Видерхольда, чем плыть по реке днями и неделями под горячим дождем в своей ужасной стоянке. Что это были за люди? Только не члены общества трезвости. Конечно, среди них есть поджигатели, грабители и убийцы, – да разве нужно что-нибудь лучшее для войны? Не подлежит сомнению, что эти люди хорошо знают свое ремесло. А те, кто попадает сюда из высших слоев общества, гибнут навсегда, тонут в мутном потоке легиона. Среди последних есть и священники, и профессора, и дворяне, и офицеры.

О, я хорошо знаю их. Пьяницы, игроки, дезертиры из всевозможных полков. И все это – анархисты, которые и понятия не имеют о том, что такое анархизм; все это люди, которые восстали против какого-нибудь невыносимого для них притеснения, и бежали. Преступники и полудети, ограниченные головы и великие сердца – настоящие солдаты.

Джонка направляется на запад и исчезает в вечерней мгле, там, где Красная Река впадает в Светлый Поток. Там ее поглощает густой туман и как бы всасывает в себя страна фиолетового яда. Но они не боятся ничего, эти белокурые, бородатые храбрецы – ни дизентерии ни лихорадки и меньше всего желтых разбойников: ведь у них с собой достаточно алкоголя и опиума, а кроме того, они снабжены хорошими лебелевскими ружьями, – чего же им еще? Сорок человек из пятидесяти останутся там, но те, кто возвратится, все-таки подпишут новые контракты – во славу легиона, но не Франции.

Эдгар Видерхольд вышел на веранду.

– Они проехала? – спросил он.

– Кто?

– Легионеры!

Он подошел к перилам и посмотрел вниз на реку.

– Слава Богу, их не видно больше. К черту их, я не могу их видеть!

– В самом деле? – спросил я.

Я, конечно, прекрасно знал, как и все в этой стране, отрицательное отношение старика к легиону, но хотел вызвать его на разговор, а потому и представился удивленным:

– В самом деле? А между тем весь легион обожает вас. До тех пор, пока восемь лет тому назад двери дома не закрылись, и господин Эдгар Видерхольд не перенес свое убежище

в Эдгархафен.

Так называлось маленькое местечко, где была расположена ферма Видерхольда; оно находилось на берегу реки, на расстоянии двух часов вниз по течению. Да, с тех пор его дом был заперт для легиона, но не его сердце. Каждая легионерская джонка, которая проезжала мимо, причаливала к Эдгархафену, и управляющий передавал офицерам и солдатам две корзины вина. К этому дару всегда прилагалась визитная карточка старика: «Господин Эдгар Видерхольд очень сожалеет, то не может на этот раз у себя принять господ офицеров. Он просит сообразоваться принять предлагаемый дар, и сам пьет за здоровье легиона».

Когда я попал к нему, то оказалось, что я был первый немец, с которым он заговорил после большого промежутка лет. О, видеть-то он видел многих немцев на реке. Я уверен, что старик прячется где-нибудь за занавесями и подсматривает оттуда каждый раз, когда мимо его дома проплывает джонка с легионерами. Но со мной он говорил опять по-немецки. Я думаю, что только поэтому он и старается удержать меня как можно дольше и придумывает всегда что-нибудь новое, чтобы отсрочить день моего отъезда.

Никто не знает, сколько ему, собственно, лет. Если тропики не убивают человека в юном возрасте, то он живет бесконечно долго. Он становится выносливым и крепким, его кожа превращается в желтый панцирь, который как бы защищает его от всяких болезней. Так было и с Эдгаром Видерхольдом. Быть может, ему было восемьдесят лет или даже девяносто, но он каждый день с шести часов утра сидел в седле. Волосы на голове его были совершенно седые, но длинная, острая борода сохранила желтовато-серый цвет. Его лицо было длинное и узкое, руки также были длинные и узкие, и на всех пальцах были большие желтые ногти. Эти ногти были длинные, жесткие, как сталь, и острые и крючковатые, как когти у хищных животных.

Я протянул ему папиросы. Я уже давно перестал их курить, они испортились от морского воздуха. Но он находил их превосходными – ведь они были немецкого производства.

– Не расскажете ли вы мне, почему Легино изгнан из вашего бунгало?

Старик не отходил от перил.

– Нет, – сказал он.

Потом хлопнул в ладоши:

– Бана! Дэвла! Вина и стаканов!

Индусы поставили столик, он подсел ко мне. Я чокнулся с ним:

– За ваше здоровье! Завтра я должен уезжать.

Старик отодвинул свой стакан:

– Что такое? Завтра?

– Да, лейтенант Шлумбергер будет проходить с отрядом третьего батальона. Он возьмет меня с собой.

Он ударил кулаком по столу:

– Это возмутительно!

– Что?

– Что вы завтра хотите уезжать, черт возьми! Это возмутительно!

– Да, но не могу же я вечно оставаться здесь, – засмеялся я. – Во вторник будет два месяца.

– В том-то все и дело! Теперь я уже успел привыкнуть к вам. Если бы вы уехали, пробыв у меня час, то я отнесся бы к этому совершенно равнодушно.

Но я не сдавался. Господи, неужели у него мало бывало гостей, неужели он не расставался то с одним, то с другим? Пока не появятся новые...

Тут он вскочил. Раньше, да, раньше он и пальцем не шевельнул бы для того, чтобы удержать меня. Но теперь, кто бывает у него? Кто-нибудь заглянет раза два в год, а немцы появляются раз в пять лет. С тех пор, как он не может больше видеть легионеров...

Тут я его поймал на слове. Я сказал ему, что согласен остаться еще восемь дней, если он расскажет мне, почему...

Это опять показалось ему возмутительным.

– Что такое? – немецкий писатель торгуется, как купец какой-нибудь?

Я согласился с ним.

– Я выторговываю свое сырье, – сказал я. – Мы покупаем у крестьянина баранью шерсть и прядем из нее нити и ткем пестрые ковры.

Это понравилось ему, он засмеялся:

– Продаю вам этот рассказ за три недели вашего пребывания у меня!

– В Неаполе я выучился торговаться. Три недели за один рассказ – это называется заломить цену. К тому же я покупаю поросенка в мешке и понятия не имею, окажется ли товар пригодным. И получу-то я за этот рассказ самое большее двести марок; пробыл я уже здесь два месяца и должен остаться еще целых три недели – а я не написал еще ни одной строчки. Моя работа во всяком случае должна окупаться, иначе я разорюсь...

Но старик отстаивал свои интересы:

– Двадцать седьмого мое рождение, – сказал он, – в этот день я не хочу оставаться один. Итак, восемнадцать дней – это крайняя цена! А то я не продам своего рассказа.

– Ну, что же делать, – вздохнул я, – по рукам!

Старик протянул мне руку.

– Бана, – крикнул он, – Бана! Убери вино и стаканы также. Принеси плоские бокалы и подай шампанского.

– Атья, саиб, атья.

– А ты, Дэвла, принеси шкатулку Хонг-Дока и игральные марки.

Бой принес шкатулку, по знаку своего господина поставил ее передо мной и нажал пружинку. Крышка сразу открылась. Это была большая шкатулка из сандалового дерева, благоухание которого сразу наполнило воздух. В дереве были инкрустации из маленьких кусочков перламутра и слоновой кости, на боковых стенках были изображены слоны, крокодилы и тигры. На крышке же было изображено Распятие; по-видимому, это была копия с какой-нибудь старой гравюры. Однако Спаситель был без бороды, у Него было круглое, даже полное лицо, на котором было выражение самых ужасных мук. В левом боку не было раны, отсутствовал также и весь крест; этот Христос был распят на плоской доске. На дощечке над его головой не было обычных инициалов: I.N.R.I., а следующие буквы: K.V.K.S.II.C.L.E. Это изображение Распятого производило неприятное впечатление своей реальностью; оно невольно напомнило мне картину Маттиаса Грюневальда, хотя, казалось, между этими двумя изображениями не было ничего общего. Отношение художников к своим произведениям было совершенно различное: по-видимому, этого художника не вдохновляли сострадание и сочувствие к мучениям Распятого, а скорее какая-то ненависть, какое-то самоуслаждение созерцанием этих мук. Работа была самая тонкая, это был шедевр великого художника.

Старик увидел мой восторг.

– Шкатулка принадлежит вам, – сказал он спокойно.

Я схватил шкатулку обеими руками:

– Вы мне ее дарите?

Он засмеялся:

– Дарю – нет! Но ведь я продал вам свой рассказ, а это шкатулка – это и есть мой рассказ.

Я стал рыться в марках. Это были треугольные и прямоугольные перламутровые пластинки с темным металлическим блеском. На каждой марке с обеих сторон была маленькая картинка, искусно выгравированная.

– Но не дадите ли вы мне комментарии к этому? – спросил я.

– Но ведь вы сами играете теперь с комментариями! Если вы как следует разложите эти марки, по порядку, то вы можете прочесть мой рассказ, как по книге. Но теперь захлопните шкатулку и слушайте. Налей, Дэвла!

Бой наполнил наши бокалы, и мы выпили. Он набил также трубку своего господина,

зажег ее и подал ему.

Старик затаился и выпустил изо рта целое облака едкого дыма. Потом он откинулся в кресле и сделал слугам знак, чтобы они махали опахалами.

– Вот видите ли, – начал он. – Этот дом действительно заслужил название бунгало легиона. Здесь пили офицеры, а там в саду – солдаты; очень часто я приглашал солдат также сюда на веранду. Верьте, что мне очень часто приходилось встречать интересных типов: людей, прошедших через огонь и воду и наряду с ними детей, которые ищут материнской ласки. Легион был для меня настоящим музеем, моей толстой книгой, в которой я всегда находил новые сказки и приключения. Ведь молодые все рассказывали мне: они были рады, когда им удавалось застать меня одного, и тогда они раскрывали мне свою душу. Вот видите ли, это действительно правда, что легионеры любили меня не только за мое вино и за несколько дней отдыха у меня в доме.

Тогда французы не заходили еще так глубоко в стану, как теперь. Последняя стоянка их находилась лишь в трех днях езды отсюда вверх по Красной Реке. Но даже в Эдгархафене и в ближайших местностях стоянки были опасны. Дизентерия и тиф, конечно, свирепствовали в этой сырой местности, а на ряду с этим – тропическая анемия. Вы знаете эту болезнь и знаете, как умирают от нее. Появляется легкий, едва заметный жарок, от которого пульс бьется чуть-чуть скорее обыкновенного, но этот жарок не проходит ни днем ни ночью. Аппетит пропадает, больной становится капризным, как хорошенькая женщина. Хочется спать, спать – пока наконец не появится призрак смерти, и больной радуется этому, потому что надеется наконец выспаться вволю. Те, кто умерли от анемии, остались в выигрыше в сравнении с теми, которые погибли иным образом. Боже, – конечно, нет никакого удовольствия умереть от отравленной стрелы, но тут по крайней мере смерть приходит через короткий срок. Но немногие умерли и этой смертью – быть-может, один из тысячи. Этому счастью могли позавидовать другие, кто живыми попались в руки желтым собакам. Был некий Карл Маттис, немецкий дезертир, кирасир, капрал первого батальона, красивый парень, который не знал страха. Когда стоянка Гамбетты была осаждена неприятелем, он взялся с двумя другими легионерами пробиться сквозь неприятеля и принести известия в Эдгархафен. Однако ночью их открыли и одного убили. Маттису прострелили колено; тогда он послал своего товарища дальше, а сам боролся против трехсот китайцев, в течение двух часов прикрывая бегство товарища. Наконец они поймали Маттиса, связали ему руки и ноги и привязали его к стволу дерева, там, на плоском берегу реки. Три дня он там лежал, пока наконец его не съели крокодилы, медленно, кусок за куском, и все-таки эти страшные животные были милосерднее своих двуногих земляков. Год спустя желтые собаки поймали Хендрика Ольденкотта из Маастрихта, богатыря семи футов вышины, невероятная сила которого погубила его: в пьяном состоянии он одним кулаком убил своего родного брата. Легион мог спасти его от каторги, но не от тех судий, которых он здесь нашел. Там, в саду, мы нашли его еще живого: китайцы взрезали ему живот, вынули из него внутренности, наполнили живот живыми крысами и снова искусно зашили. Лейтенанту Хейделимонту и двум солдатам они выкололи глаза раскаленными гвоздями; их нашли полумертвыми от голода в лесу; сержанту Якобу Биберику они отрубили ноги и посадили его на мертвого крокодила, как бы подражая казни Мазепы. Мы выудили его из воды возле Эдгархафена: несчастный промучился еще в госпитале три недели, пока наконец не умер. Довольно ли вам этого списка? Я могу его продолжать до бесконечности. Здесь разучиваешься плакать; но если бы я пролил хоть две слезы за каждого, то я мог бы наполнить ими такую большую бочку, каких нет в моем погребе. А та история, которую представляет собой шкатулка, – не что иное, как последняя слеза, переполнившая бочку.

Старик придвинул к себе шкатулку и открыл ее. Он стал перебирать длинными ногтями марки, потом вынул одну из них и протянул мне:

– Вот, посмотрите, это – герой.

На круглой перламутровой марке был изображен портрет легионера в мундире. Полное лицо солдата имело поразительное сходство с изображением Христа на крышке шкатулки;

на обратной стороне марки были те же инициалы, что и на дощечке над головой Распятого: K.V.K.S.II.C.L.E.

Я прочел «К.фон-К., солдат второго класса иностранного легиона».

– Верно, – сказал старик. – Вот именно. «Карл фон-К»... – он остановился. – Нет, имени вам не нужно, а впрочем, если пожелаете, вы можете легко его найти в старом списке моряков. Он был морским кадетом, прежде чем приехал сюда. Он должен был бросить службу и покинуть отечество. Ах, этот морской кадет обладал золотым сердцем и мягким характером! Морским кадетом его продолжали называть все – и товарищи и начальство. Это был отчаянный юноша, который знал, что жизнь его погублена и который из своей жизни делал спорт, всегда ставил ее на карту. В Алжире он один защищал целый форт; когда все начальники пали, он взял на себя командование десятью легионерами и двумя дюжинами солдат и защищал в продолжение нескольких недель, пока не пришло подкрепление. Тогда он в первый раз получил нашивки; три раза он получал их и вскоре после этого снова терял. Вот это-то и скверно в легионе: сегодня сержант, завтра опять солдат. Пока эти люди в походе, дело идет хорошо, но эта неограниченная свобода не переносит городского воздуха, эти люди сейчас же затевают какую-нибудь нехорошую историю. Морской кадет отличился еще тем, что он бросился за генералом Барри в Красное Море, когда тот нечаянно упал с мостков. Под ликующие крики экипажа он вытащил его из воды, не обращая внимания на громадных акул... Его недостатки? Он пил... как и все легионеры. И, как все они, волочился за женщинами и иногда забывал попросить для этого разрешения... А кроме того – ну, да, он третировал туземцев гораздо более *en canalle*, чем это было необходимо. Но вообще это был молодец, для которого не было яблока, висящего слишком высоко. И он был очень способный; через каких-нибудь два месяца он лучше говорил на тарабарском языке желтых разбойников, чем я, просидевший бесконечное число лет в своем бунгало. И манеры, которым он выучился у себя в детстве, он не забыл даже в легионе. Его товарищи находили, что я в нем души не чаю. Ну, этого не было, но он мне нравился, и он был мне ближе, чем все другие. В Эдгархафене он прожил целый год и часто приходил ко мне; он опорожнил много бочек в моем погребе. Он не говорил «благодарю» после четвертого стакана, как делаете это вы. Да пейте же. Бана, налей!

– Потом отправился в форт Вальми, который был тогда самой дальней нашей стоянкой. Туда надо ехать четыре дня в джонке, по бесконечным извилинам Красной Реки. Но если провести прямую линию по воздуху, то это вовсе не так далеко, на моей австралийской кобыле я проделал бы этот путь в восемнадцать часов. Он стал редко приезжать ко мне, но я сам иногда ездил туда, тем более, что у меня был еще один друг, которого я навещал. Это был Хонг-Док, который сделал эту шкатулку. Вы улыбаетесь? Хонг-Док – мой друг? А между тем это было так. Поверьте мне, что и здесь вы можете найти людей, которые почти ничем не отличаются от нас самих; конечно, их немного. Но Хонг-Док был одним из них. Быть-может, еще лучше нас. Форт Вальми – да, мы как-нибудь туда съездим, там нет больше легионеров, теперь там моряки. Это старинный, невероятно грязный народ, над ним царит французская крепость на горе, на берегу реки. Узкие улицы с глубокой грязью, жалкие домишки. Но таков этот город в настоящее время. Раньше, несколько столетий тому назад, это был, вероятно, большой прекрасный город, пока с севера не пришли китайцы и не разрушили его. Ах, эти проклятые китайцы, которые доставляют нам столько хлопот. Развалины вокруг города в шесть раз больше его самого; для желающих строить материалу там в настоящее время сколько угодно, и он очень дешевый. Среди этих ужасных развалин стояло на самом берегу реки большое старое строение, чуть не дворец: дом Хонг-Дока. Он стоял там еще с незапамятных времен, вероятно, китайцы пощадили его в силу какого-нибудь религиозного страха. Там жили властелины этой страны, предки Хонг-Дока. У него были сотни предков и еще сотни, – гораздо больше всех владетельных домов Европы вместе взятых, и все-таки он знал их всех. Знал их имена, знал, чем они занимались. Это были князья и цари, но что касается Хонг-Дока, то он был резчиком по дереву, как его отец, его дед и его прадед. Дело в том, что хотя китайцы и пощадили его дом, но они отняли все

остальное, и бывшие властелины стали так же бедны, как их самые жалкие подданные. И вот старый дом стоял запущенным среди больших кустов с красными цветами, пока не приобрел нового блеска, когда в страну пришли французы. Отец Хонг-Дока не забыл истории своей страны, как забыли ее те, кто должны были бы быть его подданными. И вот, когда белые овладели страной, он первый приветствовал их на берегу Красной Реки. Он оказал французам неоценимые услуги, и в благодарность за это ему дали землю и скот, назначили ему известное жалование и сделали его чем-то вроде губернатора этого края. Это было последним маленьким лучом счастья, упавшим на старый дом, – теперь он представляет собой груды развалин, как и все, что окружает его. Легионеры разгромили его и не оставили камня на камне; это было их мстостью за морского кадета, так как убийца его бежал. Хонг-Док, мой хороший друг, и был его убийцей. Вот его портрет.

Старик протянул мне еще одну марку. На одной стороне марки латинскими буквами было написано имя Хонг-Дока, а на другой стороне был портрет туземца высшего класса в местном костюме. Но этот портрет был сделан поверхностно и небрежно, несравненно хуже остальных изображений на марках.

Эдгар Видерхольд прочел на моем лице удивление.

– Да, эта марка ничего не стоит, единственная из всех. Странно, как будто Хонг-Док не хотел уделить своей собственной персоне хоть сколько-нибудь интереса. Но посмотрите этот маленький шедевр.

Он достал ногтем указательного пальца другую марку. На ней была изображена молодая женщина, которая могла показаться и нам, европейцам, прекрасной; она стояла перед большим кустом и в левой руке держала маленький веер. Это было произведение искусства, доведенное до полного совершенства. На оборотной стороне марки было имя этой женщины: От-Шэн.

– Это третье действующее лицо драмы в форте Вальми, – продолжал старик, – а вот несколько второстепенных действующих лиц, статистов.

Он придвинул ко мне дюжины две марок, на обеих сторонах их были нарисованы большие крокодилы во всевозможных положениях: одни плыли по реке, другие спали на берегу, некоторые широко разевали свою пасть, другие били хвостом или высоко поднимались на передних лапах. Некоторые из них были стилизованы, но по большей части они были изображены очень реально и просто; во всех изображениях была видна необыкновенная наблюдательность художника. Старик вынул еще несколько марок своими желтыми когтями и протянул их мне.

– Вот место действия, – сказал он.

На одной марке я увидел большой каменный дом, очевидно, дом художника; на других были изображены комнаты и отдельные места сада. На последней был вид на Светлый Поток и на Красную Реку, один из видов был тот, который открывается с веранды Видерхольда. Каждая из перламутровых пластинок вызвала мой искренний восторг, я самым положительным образом стал на сторону художника и против морского кадета. Я протянул-было руку, чтобы взять еще несколько марок.

– Нет, – сказал старик, – подождите. Вы должны осмотреть все по порядку, как это полагается... Итак, Хонг-Док был моим другом, как и его отец. Оба они работали на меня в течение многих лет, и я был чуть ли не единственным их заказчиком. После того, как они разбогатели, они продолжали заниматься своим искусством с тою только разницей, что за свои произведения они не брали больше денег. Отец дошел даже до того, что решил выплатить мне все до последнего гроша обратно из тех денег, которые я ему давал за его работу, и я должен был согласиться принять их, как мне ни было это неприятно, чтобы только не обидеть его. Таким образом все мои шкапы наполнились произведениями искусства совсем даром. Я-то и познакомил морского кадета с Хонг-Доком, я взял его с собой к нему в гости – знаю, что вы хотите сказать: морской кадет был большим любителем женщин, а От-Шэн была вполне достойна того, чтобы добиваться ее расположения – не правда ли? И я должен был предвидеть, что Хонг-Док не отнесется к этому спокойно? Нет,

нет, я ничего не мог предвидеть. Быть-может, вы могли бы предусмотреть это, но не я, потому, что я слишком хорошо знал Хонг-Дока. Когда все это случилось, и Хонг-Док рассказал мне, сидя здесь на веранде, – о, он рассказывал гораздо спокойнее и тише, чем я теперь говорю, – то мне до последней минуты казалось это настолько невозможным, что я отказался верить ему. Пока наконец среди реки не показалось доказательство, которое не могло оставлять больше никаких сомнений. Часто я раздумывал над этим, и мне кажется, что я нашел те побудительные причины, под влиянием которых Хонг-Док совершил свое дело. Но кто может безошибочно читать мысли в мозгу, в котором, быть может, сохранились наклонности тысячи предшествующих поколений, пресытившихся властью, искусством и великой мудростью опиума? Нет, нет, я не мог ничего предвидеть. Если бы меня тогда кто-нибудь спросил: «Что сделает Хонг-Док, если морской кадет соблазнит От-Шэн или одну из его новых жен?» – то я наверное ответил бы: «Он не поднимет даже голову от своей работы. Или же, если он будет в хорошем настроении духа, он подарит кадету От-Шэн». Так и должен был бы поступить Хонг-Док, которого я хорошо знал, именно так, а не иначе. Хо-Нам, другая его жена, изменила ему однажды с одним китайским переводчиком: он нашел ниже своего достоинства сказать им обоим хоть одно слово по этому поводу. В другой раз его обманула сама От-Шэн. Таким образом вы видите, что у него вовсе не было какого-нибудь особенного пристрастия к этой жене, и что не это руководило им. Миндалевидные глаза одного из моих индусов, который ездил со мной в форт Вальми, понравились маленькой От-Шэн, и хотя они не могли сказать друг другу ни одного слова, тем не менее очень скоро поняли друг друга. Хонг-Док застал их в своем саду, но он даже не тронул своей жены и не позволил мне наказать моего слугу. Все это так же мало волновало его, как лай какой-нибудь собаки на улице – на это едва только достаивают поворотить голову.

Не может быть и речи о том, чтобы, человек с таким ненарушимым философским самообладанием, как Хонг-Док, хоть на мгновение вышел из себя и поддался внезапной вспышке чувств. К довершению всего тщательное расследование, которое мы произвели после его бегства с женами и слугами, установило, что Хонг-Док действовал совершенно обдуманно и заранее до мелочей подготовился к своей страшной мести. Оказалось, что морской кадет в течение трех месяцев ходил в каменный дом на реке чуть не ежедневно и поддерживал все это время связь с От-Шэн, о чем Хонг-Док узнал уже через несколько недель от одного из своих слуг. Несмотря на это, он оставил в покое обоих и воспользовался этим временем для того, чтобы хорошенько обдумать свою месть и дать созреть плану, который, наверное, зародился у него в голове уже с первого мгновения.

Но почему же поступок морского кадета он принял как самое ужасное оскорбление, тогда как такой же поступок моего индусского слуги вызвал у него улыбку? Быть может, я ошибаюсь, но мне кажется, что мне удалось найти сокровенный ход его мыслей. Конечно, Хонг-Док не верил в Бога, он верил только в учение великого философа, но был глубоко убежден в том, что его род избранный, что он стоит на недостижимой высоте над всеми в стране – в этом он был убежден и имел на это основание. С незапамятных времен его предки были властелинами, неограниченными самодержцами. Наши владетельные князья, если они хоть сколько-нибудь благоразумны, прекрасно сознают, что в их странах или государствах существуют тысячи людей, которые гораздо умнее и гораздо образованнее их. Хонг-Док и его предки были так же твердо убеждены в противном: непроходимая пропасть разделяла их от их народа. Они одни были властелинами – остальные были последними рабами. Только они одни образованы и умны, а подобных себе они видели только изредка, когда в стране появлялись иностранные послы, приезжавшие из соседних стран за морем или издалека с юга из Сиам или из-за гор, из Китая. Мы сказали бы: предки Хонг-Дока были богами среди людей. Но сами они понимали это иначе: они чувствовали себя людьми среди грязных животных. Понимаете ли вы разницу? Когда на нас лает собака, то мы едва достаиваем повернуть голову. Все это было до тех пор, пока молния не прорезала туман, нависший над рекой. С далеких берегов пришли белые люди, и отец Хонг-Дока с радостным изумлением

должен был признать, что это были люди. Правда, он чувствовал разницу между собой и этими чужестранцами, но разница эта была совершенно незначительная в сравнении с той, которая чувствовалась между ним и его народом. И, как и многие другие более знатные тонкинцы, он сейчас же решил, что у него несравненно больше общего с чужестранцами, чем со своим народом. Вот почему он с первого мгновения оказывал помощь новым пришельцам.

В таких понятиях вырос Хонг-Док, сын князя, который сам должен был властвовать. Как и отец, он видел в европейцах людей, а не неразумных животных. Но теперь, когда блеск старого дворца возобновился, у него было больше времени присмотреться к этим чужеземцам, разобраться в той разнице, которая существовала между ним и ими и между ними самими. От постоянного общения с легионом его чутье в этом отношении стало таким же безошибочным, как и мое: он безошибочно узнавал в солдате господина и в офицере холопа, несмотря на золотые нашивки. Нигде образование не служит таким показателем происхождения и отличительным признаком господина от холопа, как на Востоке. Он хорошо видел, что все эти воины стоят на недостижимой высоте над его народом – но не над ним. Если его отец и смотрел на каждого белого, как на равного себе, то он, Хонг-Док, относился к белым уже иначе: чем ближе и лучше он их узнавал, тем реже он находил среди них людей, которых он становил на одну доску с собой. Правда, все они были удивительные, непобедимые воины, и каждый из них в отдельности стоил сотни столь страшных китайцев – но была ли в этом особая заслуга? Хонг-Док презирал военное ремесло, как и всякое другое. Все белые умели читать и писать – их собственные знаки, конечно, – но это ему было безразлично; однако едва ли нашелся бы хоть один из них, который знал бы, что такое философия. Хонг-Док не требовал, конечно, чтобы они знали великого философа, но он ожидал найти в них какую-нибудь другую, хотя и чуждую для него, но глубокую премудрость. Однако, он ничего не нашел. В сущности, эти белые знали о причине всех причин меньше любого курильщика опиума. Было еще одно обстоятельство, которое сильно подорвало уважение Хонг-Дока к белым: это их отношение к своей религии. Не сама религия не нравилась ему. К христианскому культу он относился совершенно так же, как и ко всякому другому, который был ему известен. Нельзя сказать, что наши легионеры набожны, и ни один добросовестный священник не согласился бы дать ни одному из них св. Дары. И все-таки в минуты большой опасности из груди легионера может вырваться несвязная молитва, мольба о помощи. Хонг-Док заметил это – и вывел заключение, что эти люди действительно верят, что им поможет какая-то неведомая сила. Но он продолжал свои исследования – я, кажется забыл сказать вам, что Хонг-Док говорил по-французски лучше меня – он подружился с полковым священником в форте Вальми. И то, что он узнал у него, еще больше укрепило в нем сознание своего превосходства. Я хорошо помню, как он однажды, сидя со мной в своей курительной комнате, с усмешкой сказал мне, что теперь он знает, насколько реально христиане относятся к своему культу. Потом он прибавил, что даже сами христианские священники не имеют понятия о символическом.

Самое худшее было то, что он был прав; я не мог возразить ему ни слова. Мы, европейцы, верим, но в то же время не верим. А таких христиан, которые веру своих отцов превозносят, как прекрасное воплощение глубоких символов, таких в Европе можно искать с фонарем, здесь же, в Тонкине, вы их наверное совсем не найдете. Но это-то и представлялось восточному ученому самым естественным, неизбежным для образованных людей. И когда он этого совершенно не нашел даже у священника, который не понял его мысли, представлявшейся ему такой простой, то он потерял в значительной степени уважение к белым. В некотором отношении европейцы стояли выше его – но в таких областях, которые не имели для него никакой цены. В другом же они были ему равны; но во всем, что представлялось ему наиболее важным, в глубоком и отвлеченном мирозерцании, они стояли несравненно ниже его. И это презрение с течением лет превратилось в ненависть, которая все возрастала по мере того, как чужестранцы становились властелинами его страны, завоевывая ее шаг за шагом и забирая в свои сильные руки всю власть. Ему уже не

оказывали больше тех почестей, какие оказывали его отцу, а потом и ему самому; он чувствовал, что заблуждался, и что роль старого каменного дома на Красной Реке навсегда окончена. Не думаю, что вследствие этого философ почувствовал горечь, потому что он привык принимать жизнь такой, какой она есть; напротив, сознание своего превосходства было для него источником радостного удовлетворения. Отношения, которые с годами создались между ним и европейцами, были самого простого свойства: он по возможности отдалился от них, но внешне его отношения были такие, какие бывают между равными людьми. Но в душу свою, в свои мысли, которые скрывались за угловатым желтым лбом, он не позволял больше никому не заглядывать, а если время от времени он разрешал это мне, то это происходило от его преданности мне, которую он всосал вместе с молоком матери и которую всегда поддерживал мой искренний интерес к его искусству.

Таков был Хонг-Док. Его ни на одно мгновение не могло вывести из самообладания то обстоятельство, что одна из его жен вступила в связь с китайским переводчиком или с моим индусским слугой. Если бы эта маленькая вольность имела последствия, то Хонг-Док просто велел бы утопить ребенка, но не из ненависти, или из чувства мести, а из тех же побуждений, из которых топят ненужных щенков. И если бы морской кадет попросил его подарить ему От-Шэн, то Хонг-Док сейчас же исполнил бы его просьбу.

Но морской кадет вошел в его дом, как равный ему, и украл жену, как холоп. С первого же вечера Хонг-Док заметил, что этот легионер из другого материала, а не из того, из которого состоит большая часть его товарищей; это я увидел уже по тому, что он был с ним менее сдержан, чем с другими. А потом – так мне кажется – морской кадет, вероятно, обращался с Хонг-Доком так же, как он обращался бы с хозяином замка в Германии, жена которого ему понравилась. Он пустил в ход всю свою обольстительную любезность, и ему, конечно, удалось подкупить Хонг-Дока, как он всегда подкупал меня и всех своих начальников: не было никакой возможности противостоять этому умному, жизнерадостному и хорошему человеку. И он обворовал Хонг-Дока до такой степени, что тот сошел с своего трона, – он, властелин, художник, мудрый ученик Конфуция, – да, он подружился и полюбил легионера, полюбил его сильнее, чем кого-либо другого.

Но вот один из слуг донес ему на его жену, и он увидел из окна, как морской кадет и От-Шэн наслаждаются любовью, гуляя в его саду.

Так вот для чего приходил он сюда. Не для того, чтобы видеть его – но для нее, для женщины, для какого-то животного. Хонг-Док увидел в этом позорную измену, он почувствовал себя глубоко оскорбленным... о, только не как европейский супруг. Нет, его оскорбило то, что этот чужестранец притворился его другом, и что он, Хонг-Док, сам подарил ему свою дружбу. Он был возмущен тем, что при всей своей гордой мудрости разыграл дурака по отношению к этому подлому солдату, который втихомолку, как слуга, украл у него жену; что он осквернил свою любовь, подарив ее человеку, который стоял так неизмеримо ниже его. Вот чего не мог перенести этот гордый желтый дьявол.

Однажды вечером слуги принесли его ко мне в бунгало. Он вышел из носилок и с улыбкой вошел на веранду. Как всегда, он принес мне подарки, маленькие веера великолепной работы. На веранде сидело несколько офицеров, Хонг-Док очень любезно поздоровался с ними, сел и сидел молча; едва ли он произнес и три слова, пока наконец через час не исчезли все гости. Он подождал, пока не заглох топот их лошадей на берегу реки, потом начал очень спокойно, очень кротко, словно сообщает мне самую приятную для меня новость:

– Я приехал, чтобы сообщить вам кое-что. Я распял морского кадета и От-Шэн.

Хотя Хонг-Доку совсем не свойственна была шутка, но при этом в высшей степени странном сообщении я подумал только, что это какая-нибудь смешная выходка. И мне настолько понравился его сухой, простой тон, что я сейчас же подхватил его и спросил так же спокойно:

– В самом деле? А что вы еще с ним сделали?

Он ответил:

– Я им еще зашил губы.

Тут я расхохотался:

– Ах, чего вы только не придумаете! Какие же любезности вы еще оказали обоим? И почему вы все это сделали?

Хонг-Док продолжал говорить спокойно и серьезно, но сладенькая улыбочка на сходила с его лица.

– Почему? Я застал их «в флагах».

Это слово так понравилось ему, что он повторил его несколько раз. Он где-нибудь слышал его или вычитал, и ему казалось необыкновенно смешным, что мы, европейцы, придаем такое значение наложению вора на месте преступления. Он сказал это с ударением, с такой интонацией, которая особенно подчеркивала его презрение:

– В флагах... Не правда ли, ведь в таких случаях в Европе обманутый супруг имеет право наказать похитителя своей чести?

Эта слащавая насмешка была проникнута такой уверенностью, что я не нашелся, что ему ответить. Он продолжал все с той же любезной улыбкой, словно рассказывал нечто самое обыкновенное:

– Так вот я его наказал. А так как он христианин, то я нашел за лучшее избрать христианский образ смерти; мне казалось, что ему больше всего понравится. Не правда ли?

Эта странная шутка мне не понравилась. Мне и в голову не приходило, что все это правда; но у меня было какое-то безотчетное чувство, которое угнетало меня, и мне хотелось, чтобы он поскорее перестал болтать. Я, конечно, поверил ему, что морской кадет и От-Шэн находятся в связи, и думал, что этим примером он снова хотел доказать всю абсурдность наших европейских понятий о чести и нравственности. И я ответил ему в тон:

– Конечно. Вы совершенно правы. Я уверен, что морской кадет очень оценил ваше внимание.

Но Хонг-Док с некоторой грустью покачал головой:

– Нет, не думаю. По крайней мере, он не сказал на этот счет ни одного слова. Он только кричал.

– Он кричал?

– Да, – ответил Хонг-Док с слащавой меланхолией, – он очень кричал. Гораздо больше От-Шэн. Он все молился своему Богу, а молитву прерывал криками. Кричал хуже всякой собаки, которую режут. Право, было очень неприятно. И потому я должен был велеть зашить ему рот.

Мне надоела эта шутка, и я хотел скорее довести ее до конца.

– Это все? – прервал я его.

– Собственно говоря, все. Я велел их схватить, связать и раздеть. Ведь его Бог был также нагой, когда его распинали, неправда ли? Потом им зашили губы и распяли, а потом я велел бросить их в реку. Вот и все.

Я был рад, что он кончил:

– Ну, а дальше-то что же?

Я ждал объяснения всего этого.

Хонг-Док посмотрел на меня во все глаза и сделал вид, будто не понимает, что я хочу от него. Он сказал с притворным состраданием к самому себе и даже продекламировал эти слова как бы в насмешку:

– О, это была только месть несчастного обманутого супруга.

– Хорошо, – сказал я, – хорошо! Но скажите же мне наконец, к чему вы все это ведете! В чем же тут соль?

– Соль? – он самодовольно засмеялся, словно это слово было необыкновенно кстати. – О, пожалуйста, подождите немного.

Он откинулся в кресле и замолчал. У меня не было ни малейшего желания расспрашивать его дальше, и я последовал его примеру; пусть рассказывает свою кровавую историю до конца, как это ему вздумается.

Так мы сидели с полчаса, никто из нас не произносил ни слова. В комнате часы пробили шесть.

– Вот теперь вы увидите соль всего этого, – сказал Хонг-Док тихо.

Потом он обернулся ко мне.

– Не прикажете ли вы слуге принести ваш бинокль?

Я сделал знак Бане, и он принес мой бинокль. Но Хонг-Док не дождался бинокля; он вскочил и сильно перегнулся через перила. Он вытянул руки вправо по направлению Красной Реки и воскликнул торжествующим тоном:

– Посмотрите, посмотрите, вот она – ваша соль.

Я взял бинокль и стал смотреть в него по указанному направлению. Далеко-далеко я заметил посреди реки маленькую точку. Она все приближалась, наконец я увидел, что это – маленький плот. И на плоту были двое людей, оба голые. Я бросился к крайнему углу веранды, чтобы лучше видеть. На спине лежала женщина, ее черные волосы свешивались в воду – я узнал От-Шэн. А на ней лежал мужчина – его лица я не видел, но мог различить только рыжеватый оттенок его волос, – ах, это был морской кадет. Длинными железными гвоздями были насквозь прибиты руки к рукам, ноги к ногам; тонкие темные струйки крови текли по белым доскам. Вдруг я увидел, как морской кадет высоко приподнял голову и стал ею трясти в бессильной ярости. Наверное, он подавал мне знаки... они еще живы, живы!

Я уронил бинокль, на минуту растерялся. Но только на минуту, потом я закричал, я зарычал, как безумный, на моих людей.

– Вниз в лодки.

Я бросился через веранду – тут я наткнулся на Хонг-Дока, он продолжал слащаво улыбаться. Казалось, словно он спрашивал:

– Ну, что же, как вы находите мою соль?

Знаете, меня часто высмеивали за мои длинные ногти, но клянусь, в это мгновение они мне оченьгодились. Я схватил этого желтого негодяя за горло и стал его трясти изо-всех сил. И я чувствовал, как когти мои глубоко вонзались в эту проклятую глотку.

Потом я его отпустил, и он, как мешок, свалился на землю. Как одержимый, бросился я с лестницы, за мной побежали слуги. Я прибежал к берегу и отвязал цепи у первой лодки. Один из индусов вскочил в лодку, но сейчас же провалился до пояса и очутился в воде: средняя доска в дне была вынута. Мы бросились к следующей лодке, потом к третьей – ко всем, которые стояли у пристани – но все были до краев наполнены водой, из всех были вынуты доски. Я крикнул людям, чтобы они приготовили большую джонку, и мы влезли в нее, сломя голову. Но и в джонке оказались большие пробоины, и мы ходили в ней по колено в воде; не было никакой возможности хоть на один метр отъехать от берега на этой джонке.

– Это сделали слуги Хонг-Дока, – крикнул мой управляющий, – я видел, как они бродили здесь по берегу.

Мы снова выскочили на берег. Я дал приказание вытащить на берег одну из лодок, выкачать из нее воду и скорее прибить новую доску к ее днищу. Люди бросились в воду, стали тащить лодку, надрываясь от тяжести этой громадной лодки. Я кричал на них и по временам смотрел на реку.

Плот проплывал совсем близко от берега, на расстоянии каких-нибудь пятнадцати метров. Я протянул руки, как бы желая схватить плот руками...

...Что вы говорите? Переплыть? О, да, если бы речь шла о Рейне или Эльбе... но плыть по Светлому Потoku! И ведь все это происходило в июне, в июне, имейте в виду. В реке кишели крокодилы, в особенности во время заката солнца. Эти отвратительные животные плавали вокруг плота, я видел даже, как один крокодил положил передние лапы на край маленького плота и, приподнимаясь на них, стал обнюхивать своей черной мордой распятые тела. Крокодилы почуяли добычу и провожали плот вниз по течению.

И снова морской кадет начал трясти своей белокурой головой. Я крикнул ему, что мы идем на помощь, сейчас идем.

Но казалось, будто проклятая река в заговоре с Хонг-Доком: ее глинистое дно

вцепилось в лодку и не пускало ее. Я спрыгнул в воду и стал тянуть вместе с людьми. Мы тащили изо всех сил, но нам едва удалось сдвинуть лодку на один дюйм. А солнце спускалось все ниже к горизонту, и маленький плот плыл все дальше и дальше, вниз по течению.

Наконец управляющий догадался привести лошадей. Мы впрягли лошадей в лодку и стали стегать их. Лодка подалась. Еще раз и еще, – мы хлестали лошадей и кричали. И вот лодка очутилась на поверхности воды, но она все еще давала течь, и люди начали прибивать новые доски. Когда мы наконец отчалили, то было уже совсем темно, и давно наступила ночь.

Я сел на руль, шесть человек тяжело налегли на весла. Трое человек стояли на коленях и черпаками выбрасывали воду, которая продолжала быстро набираться в лодку. Скоро ноги наши по щиколотку стояли в воде; я должен был снять с весел двух гребцов, а потом еще двух, чтобы люди поспевали вычерпывать воду. Мы подвигались вперед бесконечно медленно.

У нас были с собой большие смоляные факелы, и мы осматривали реку при помощи их и искали плот. Но мы ничего не нашли. Раза два нам казалось, что мы видим его, но когда мы приближались, то оказывалось, что это ствол дерева или аллигатор. Мы искали несколько часов, но ничего не нашли.

Наконец я причалил к Эдгархафену и поднял тревогу. Комендант выслал на реку пять лодок и две большие джонки. Еще три дня продолжались поиски вдоль реки, но все было тщетно! Мы разослали телеграммы на все стоянки вниз по реке. Ничего! Так никто и не видел больше бедного морского кадета.

...Что я думаю? Вероятно, плот зацепился где-нибудь за берег и остановился, или же его нанесло течением на ствол большого дерева, и он разбился. Так или иначе, но страшные пресмыкающиеся получили свою добычу.

Старик осушил стакан и протянул его индусу. И снова залпом выпил его. Потом он медленно провел своими большими ногтями по седоватой бороде.

– Да, – продолжал он, – вот мой рассказ. Когда мы возвратились в бунгало, то Хонг-Дока там уже больше не было, а с ним исчезли и его слуги. Потом началось расследование, – но я уже говорил вам об этом, – оно, конечно, не дало ничего нового.

Хонг-Док бежал. И я долго ничего не слышал о нем, пока вдруг совершенно неожиданно не получил этой шкатулки; кто-то принес ее в мое отсутствие. Люди сказали, что это был китайский купец; я велел разыскать его, но тщетно. Вот, возьмите эту шкатулку; посмотрите картинки, которые вы еще не видели.

Он придвинул ко мне перламутровые пластинки:

– Вот тут изображено, как слуги Хонг-Дока несут его ко мне в носилках. А вот здесь вы видите его и меня на этой веранде, здесь изображено, как я хватаю его за горло. На нескольких марках нарисовано, как мы стараемся сдвинуть с места лодку, а на других, как ночью ищем плот на реке. На этой марке изображено распятие От-Шэн и морского кадета, а вот здесь им зашивают губы. Вот это – бегство Хонг-Дока, а здесь видите мою руку с когтями, на другой стороне марки изображена шея с шрамами.

Эдгар Видерхольд снова закурил трубку:

– А теперь берите вашу шкатулку, – сказал он. – Пусть эти марки принесут вам счастье за карточным столом, – на них крови достаточно.

И эта история – истинная правда.